

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

ISSN 0131-6044
9 770131 604002

РОМАН №6 2024 ГАЗЕТА

«В некотором царстве...» / Современная проза





ЗАМЛЕЛОВА Светлана Георгиевна

Родилась в Алма-Ате. Окончила Российский Государственный Гуманитарный Университет (РГГУ — Москва). Прозаик, публицист, критик, переводчик. Член Союза писателей России и Союза журналистов России, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Кандидат философских наук (МГУ), защитила кандидатскую диссертацию на тему «Современные теологические и философские трактовки образа Иуды Искаротиота».

Автор многих книг прозы, публицистики, переводов и критики. Неоднократно публиковалась на страницах «Роман-газеты». Главный редактор сетевого литературного журнала «Камертон».



ПЕРЕЯСЛОВ Николай Владимирович

Родился в 1954 году на Донбассе, работал шахтёром, геологом, журналистом, учился в Московском Горном институте. Первые стихи были напечатаны в газете «Маяк» Красноармейского района Донецкой области. В 1993 году окончил заочное отделение Литературного института имени А. М. Горького (семинар Вс. А. Сурганова). Защитил диплом по разгадке тайн «Слова о полку Игореве». Печатался в журналах «Воин России», «Пограничник», «Наш современник», «Москва», «Русское эхо», «Дальний Восток», «Молодая гвардия» и др. Автор тринадцати книг стихов, прозы и критики, а также множества публикаций в периодике. Лауреат ряда литературных премий.



«СКЛАДЕНЬ» (Изборник № 2)

Готовя очередной выпуск альманаха «День поэзии — XXI век. 2022/23» мы, члены редактората этого временно популярного издания, зачастую были откровенно разочарованы уровнем присылаемых для публикации произведений.

Очевидно, что значение поэзии в России сильно понизилось, а ведь когда-то она была почти «национальной идеей». Старшие мастера поэтического цеха — ушли туда «где Бог собрал певцов России души», нас — родившихся в пору «послевоенного поэтического ренессанса» становится всё меньше. Вот почему мы решили объединиться для того, чтобы по мере сил возвращать традиции русской (советской) поэзии с их высокими нравственными и художественными ориентирами. Обращаемся прежде всего к «племени младому, незнакомому», чтобы по завету великого князя Московского Симеона Гордого «не пресеклась память о родителях наших и о нас, и свеча бы не погасла». Мы добавим — и поэтическая память.

Изборник «Складень», по нашему замыслу, будет выходить ежемесячно в ведущих литературных изданиях России. Мы будем приглашать к сотрудничеству авторов которые, по нашему мнению, соответствуют высокой чести именоваться российским ПОЭТОМ. На этот раз им стал коренной Санкт-петербуржец Кирилл Козлов.

Журнал «Роман-газета» любезно предоставил свои страницы для второго номера изборника. Спасибо ему.

P.S. ИЗБОРНИК, (истор., лит.) — в древней Руси рукописный сборник, содержащий статьи, выбранные из разных книг.

СКЛАДЕНЬ (створки, складни, раскладные иконы) — небольшая икона со складывающейся конструкцией, состоящая из нескольких створок с отдельными иконописными изображениями.

Виктор КИРЮШИН,
Андрей ШАЦКОВ,
Евгений ЮШИН

Окончание см. на 3 стр. обложки.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

Редакционная
коллегия:

Дмитрий Белюкин
Алексей Варламов
Анатолий Заболоцкий
Владимир Личутин
Юрий Поляков

Ответственный
редактор
Елена Русакова

Права
на использование
товарного знака
«Роман-газета»
принадлежат
ООО «Роман-газета»
© ООО «Роман-газета», 2024
Все права защищены

Журнал зарегистрирован
в Министерстве связи
и массовых коммуникаций РФ.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-68350
от 30.12.2016 г.

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
roman-gazeta-1927@yandex.ru

**Подписные
индексы издания:**

в объединенном
каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2024 №6 /1947/ Основана в 1927 г.

«В некотором царстве...»

Современная проза

Светлана Замлелова

Берендеево царство

На закате, когда ни одной живой души уже не встретишь на улице, когда падающее за горизонт светило успеваешь окрасить предметы в невозможные во весь остальной день и потому неизменно волнующие тона; когда длинные, корявые тени, похожие на тоскующих призраков, расплзаются от домов и деревьев; когда две прекрасные и пугливые птицы — тишина и неподвижность — прилетают из неведомого края и складывают свои крылья, — в этот час кажется, что Берендеевка — не просто обнищавшее и опустевшее село у станции, но действительный уголок Берендеева царства. Той русской сказки, где кричат кикиморы на болоте, где леший плачет в лесной глуши и где кресты, словно сотканые из золотых лучей, неподвижно парят тут и там в воздухе, ограждая Русь от злых чар и наваждений.

Но обманчив предзакатный свет, искажающий цвета и очертания. И нет больше Берендеева царства. Лишь забрезжит утро, как всё предстанет в настоящем своём виде, и то, что в сумерках казалось прекрасным, покажется вдруг жалким, что было страшным, исчезнет вовсе, а то, чего никто не видел, вдруг явится и потрясёт своим безобразием.

Те несколько переплетающихся улиц вокруг церкви называют в народе — «Лизки». Хотя у каждой улицы есть своё название, едва различимое на чудом сохранившихся ржавых табличках, приколоченных кое-где к домам, эта часть села имеет особое прозвище. Лизкой звали жившую в похужей на конуру избе слабоумную, которую сельские боголюбивые старухи почитали, однако, юродивой. Но если и допустить, что Лизка юродствовала, то уж точно не Христа-ради.

Просто от самого своего рождения, а может, и от хаотического зачатия, была Лизка обделённой и убогой, так что даже говорить толком не выучилась. И всю свою недолгую жизнь — а умерла Лизка шестнадцати лет — она только и делала, что мычала. И когда стали потом вспоминать, то выяснилось, что никто и никогда кроме слов «деги», что на Лизкином языке значило «деньги», от Лизки не слышал.

Случалось Лизке и неистово кричать, словно от страшных болей. А иногда высекалась она на улицу и пугала прохожих. Даже те, кто знал Лизку, а знало её всё се-

ло, невольно вздрагивали, когда она вдруг появлялась и дёргала за рукав, приговаривая: «Деги, деги...» Так что, стоит ли удивляться проклятиям, а то и тумакам, которыми нет-нет, да и награждалась Лизка. Но бывало это в сердцах и с перепугу. А нарочно зла Лизке никто не делал. В народе всегда не то, что любили таких людей, и даже не то, что жалели, а как-то побаивались и, как злых духов, старались задобрить — отсутствие любви нередко восполняется страхом.

Пробовал отец Николай, живший по соседству, рассказывать Лизке о вере. Лизка внимательно слушала, а когда отец Николай умолк, сказала: «Деги, деги...» И отец Николай оставил свою проповедь.

Отчего Лизка умерла, никто не знал толком. Говорили не то что-то о сердце, не то о лёгких. Версии высказывались разные, включая самые невозможные. Так, Лизкина бабка утверждала, что Лизку-де «ангелы взяли». И что будто бы она сама видела, как среди ночи появились откуда-то «люди, не люди... а в белых одежах», взяли под руки Лизку и пошли по лунной дорожке. Все знали, что у бабки роман с Бахусом, но всё равно верили. Хотели верить.

Когда Лизку хоронили, день был влажный, с изморосью. И это тоже работало на Лизкин авторитет — повторяли: «природа плачет».

Про окраину села, где стояла церковь и где ещё совсем недавно можно было услышать: «деги, деги...», стали говорить: «...это там, где Лизка жила». Потом: «где Лизка». А там и просто: «Лизки». О тех, кто жил там, говорили: «живут на Лизках».

Одним из примечательных обитателей Лизок был отец Николай, пожилой настоятель Берендеевской церкви, до недавнего времени пустовавшей, а потом вдруг наполнившейся старухами, как стакан молока, оставленный летним днём где-нибудь на открытой веранде, мошкаррой. Тому, что народ Божий потянулся в храм, отец Николай радовался. Хотя и отмечал про себя, что одни тянутся по вере, другие — от скуки, а третьи — за неимением другого места, где бы можно было, пусть на время, сбросить груз содеянного доньне, неотвязно носимый, точно горб, истязаящий и уродующий.

Несмотря на пестроту и неказистость, «народ Божий» оказался сбит в такое прочное целое, что раз отколовшийся уже не мог вернуться назад, как невозможно приставить на прежнее место отбитый кусок вазы или глиняной чашки. Зато и новичков, неискушённых и не успевших показать норы, приход затягивал и держал крепко. Точно гонимое ветром облако или стая оводов, носящихся над пажитью — в пространстве и времени Берендеевки приход не делился на личности и не имел лица. И если что-то случилось внутри прихода, трудно было сказать, кто виноват или, напротив, благодаря кому случилось.

Был отец Николай одинок — попадья умерла уже очень давно, через год после венчания, когда только окончивший семинарию батюшка лишь вступил на избранный путь. К матушке своей отец Николай исходил нежностью и любил, бывало, смотреть на неё спящую. В другой раз он жениться не мог. Но образ оставившей его жены стал постепенно как будто таять в памяти отца Николая, пока наконец не осталась в воспоминании лишь её рука от запястья до локтя — белая, полная, гладкая, похожая на сахарную голову.

Жилищем батюшке служила крошечная избушка, сложенная из толстых потемневших брёвен. Такими толстыми были брёвна и такой маленькой сама избушка, что казалось, будто срублена она из огромных поленьев, наколотых какими-то великанами для исполинской печи.

Старое лицо отца Николая, опутанное морщинами и заляпанное пятнами, небрежно посаженными временем, с развевающейся паутиной волос и бороды похоже было на замшелую лесную корягу. Но глаза, отказавшиеся выцветать и остававшиеся синими, оживляли это лицо. Эстет и любитель изящного отметил бы сходство отца Николая с врубелевским Паном. Только, в отличие от лукавого Пана, лицо отца Николая было наивно и сверх всякой меры добродушно — никогда не находила на него тень раздражения или недовольства.

Вокруг себя смотрел отец Николай то с восхищением, то с кротостью. Мир Божий приводил в восторг этого очарованного человека, перед которым точно приоткрыта была завеса вечности. Казалось, что, заглядывая за неё, отец Николай видел и понимал нечто, недоступное всем остальным. Оттого-то радость не оставляла его, оттого-то жил отец Николай, словно читал интересную книгу.

Сотворив мир, Господь остался доволен. И, глядя на отца Николая, можно было подумать, что он присутствовал при сотворении и приобщился Господней радости, прозревая с тех пор в каждом существе, в каждой вещи кругом себя десницу Творца.

И мечталось отцу Николаю, что, быть может, наступит такое время, когда в уединении и тишине, чтобы не отвлекал никакой суетный голос, в сосредоточении и молчании услышит он Ангельский хор и дыхание Духа. Но пока был приход, пёстрый и неспокойный, выслушивать множество визгливых и скрипучих голосов которого было долгом отца Николая.

Минул год со дня смерти Лизки, как в Берендеевке вдруг объявилась Маринка — её мать. Пьющей и оставшейся в городе без работы Маринке надлежало месяца, кажется, через три разрешиться от бремени. С тем она и прибыла на родину, посчитав, очевидно, что лучшего места ей всё равно не найти. Но родина встретила Маринку неприветливо.

В Берендеевке поджидала её целая свора имён и прозваний, которые, едва Маринка появилась у околицы, повыскакивали, точно собаки из углов и подворотен, и разом повисли на ней. Прозвища, из которых самым удобопроизносимым было «Непутёвая», отпусkaliсь по поводу Маринки односельчанами в награду за тот образ жизни, который она вела с юных лет и которым неизменно оскорбляла добродетельных земляков.

Рано узнавшая вино, рано вкусившая любовь, Маринка не видела и не хотела другой жизни. Когда-то Маринка была как все. Но именно это незаметное обстоятельство и определило всю дальнейшую судьбу Маринки. Когда начала она чувствовать своё тело, когда тело стало взывать к ней, кокетничая и всячески стараясь привлечь к себе её внимание, Маринке вдруг вздумалось представляться перед сверстниками взрослой, а перед взрослыми — как-то по-особенному свободной. С этой целью Маринка отрезала себе косу, выстригла на лбу чёлку, как у обитателей конюшен, и при помощи таблеток гидроперита из русой сделалась ярко-жёлтой. Следующим шагом на пути Маринки к свободе стали сигареты «Прима», продававшиеся в сельпо и не отпускавшиеся продавщицей Валентиной учащимся. На селе было известно, что продавщица Валентина не самовольно попирает права юношества, но будучи в сговоре с директором школы и сельсоветом. Однако препятствие в её лице было вполне преодолимо — находился-таки какой-нибудь сердобольный, покупавший на деньги школьников сигареты, а после обильно угощавшийся из пачки.

Поначалу Маринка, чья неокрепшая душа сделалась заложницей крепнущего тела, «стреляла» сигареты у мальчишек, но скоро пришла к пониманию, что распоряжаться пачкой нужно самой. И как-то возле сельпо она подошла к тузлуковщику Коле и, протянув ему шестнадцать копеек, сказала как можно развязнее:

— Слышь, Коль?.. Возьми мне «Приму»...

Коля смерил Маринку взглядом и понял, что сигарета в зубах этой юной блондинки — только начало какой-то чадной феерии, в которой, возможно, найдётся и для него место.

Коля купил Маринке «Приму», и с тех пор они начали гулять. Так это называлось.

Ходили на Волчью гору, на гулянку в Погореловку — соседнюю деревню. Потом Коля увлёк Маринку в горох. Трескучие гороховые стебли кололись, точно выталкивали вон непрошенных гостей. А Маринке нравилось и не нравилось. Коля был некрасивый, прыщеватый, с острым кадыком, глядя на который можно было подумать, что Коля проглотил грецкий орех и этот орех так и застрял у него в горле. Маринка смотрела на кадык, и ей нестерпимо хотелось его потрогать. К тому же от Коли всегда пахло

чем-то кислым, и Маринка невольно морщилась от этого запаха. Но Коля был лет на десять её старше, а Маринке льстило гулять со взрослым парнем, и она терпела Колю.

Скуку жизни можно преодолеть, либо приняв её как непреложную и непобедимую данность, либо преобразив саму жизнь, либо одурманив себя. Самые несчастные люди — это те, кто рано приучился скучать, кто понял или хотя бы догадался, что земная жизнь трагична и уродлива, но, поняв или догадавшись, не нашёл в себе ни силы, ни таланта, ни дерзновения изменить хоть что-то вокруг. И несчастные до конца своих дней бывают, словно эриниями, гонимы не то тоской по утраченному блаженству, не то невозможностью утолить эту тоску...

Потом, чтобы скрыть последствия своей гороховой любви, Маринка сделала отчаянный шаг, а Коля сделал вид, что не знает Маринки. Но появились другие парни, охочие до суетных увеселений, неотъемлемой частью которых должна быть согласная на всё женщина. И феерия началась.

Мать Маринки вдовела уже много лет и на этом основании почитала себя обиженной, а потому ни во что, кроме своей обиды, вникать не хотела. Оттого, что она уж очень пристально всматривалась в себя, лелея обиду, ничего другого ей просто не удавалось увидеть. И лишь наслушавшись иногда от возмущённых товарок о поведении Маринки, мать принималась её воспитывать, охаживая полотенцем или другой какой тряпкой и повторяя те обидные слова, что уже вереницей тянулись за Маринкой по селу. Но потом этот пыл проходил, и она снова погружалась в какой-то тупой эгоизм, делая только то, чего нельзя было не делать. Так, например, нельзя было не выходить на работу — работала Маринкина мать мездрильщицей шкур на фабрике, нельзя было не варить обед. И она ходила и варила. Да и суливший забвение Бахус давно уже тронул её сердце.

К тому времени, как Маринка явилась в Берендеевку на сносях, товарки её матери с фабрики образовали приход. Околоцерковная жизнь придавала обычным явлениям необычный смысл и окрашивала в причудливые краски. Смерть дурочки Лизки превратилась в кончину праведницы, приезд Маринки — в апокалиптическое явление блудницы. И если в Маринку не полетели камни, то исключительно благодаря прямому указанию свыше, так красноречиво и трогательно переданному евангелистом.

Отец Николай помнил Маринку и слышал, что о ней говорили. И потому, когда она появилась в храме — некрасивая, испитая, в старом лёгком пальто, не сходящемся на животе, — он поспешил к ней навстречу и, как можно более ласково, спросил:

— Ну что, Маринушка?

Отцу Николаю представилось, что Маринка пришла с покаянием. И хоть он гнал от себя ненужные мысли, но успел всё же подумать, что естественным для Маринки было бы пасть сей же час на колени и умыться слезами, воздев или заломив руки. Но Маринка, скользя глазами по верхнему ярусу иконостаса, откуда взирали вниз обеспокоенные пророки с развёрнутыми в руках свитками, сказала сильным голосом:

— Жрать нечего...

Сказала небрежно, не глядя на отца Николая, ту по шаря глазами по иконостасу, точно силясь понять, к кому бы тут лучше обратиться за куском. И казалось, что Маринке просто хотелось отговориться от назойливого попа и что своим словам она не придавала смысла, который был в них заложен. Но отец Николай, вдруг устыдившийся чего-то и с болью рассматривавший жалкую фигуру захожанки, не сомневался, что именно так, как говорила Маринка, или очень близко к тому, дело и обстояло. И для Маринки, и для её непутёвой матери, и для не повинного пока ни в чём, не успевшего даже родиться младенца.

Отступив от Маринки в смущении, отец Николай уже знал, что ему делать.

Жалованья, положенного отцу Николаю приходом, по праву распоряжавшегося и хозяйством, и финансами храма, хватало одинокому и неприветливому священнику с лишком. Что было нужно старику, первым и единственным удовольствием которого была молитва? Лоскут крашенины да кус квашенины — сыт и одет. Вот почему на кухне у отца Николая, на полке с крупами, в жестяной советской коробке из-под конфет хранились российские банковские билеты. Образу жизни и скудными потребностями отца Николая жестяная коробка была обязана тем, что билеты в неё только укладывались. Но никогда не изымались. И вот впервые за всю историю своего служения сейфом жестяная коробка с башнями Московского Кремля на крышке приоткрылась для того, чтобы опустеть.

Башни Кремля перемигнулись красными звёздами, петли скрипнули деловито, старческая рука опустилась в коробку и, силясь захватить содержимое, процарапала несколько раз по дну окостенелыми ногтями. Наконец крышка захлопнулась, и пустая коробка отправилась на полку к крупам. А отец Николай отправился к соседкам.

На другой день в Берендеевке обсуждали исчезновение Маринки с крупной суммой, подаренной ей отцом Николаем. Кто-то восхищался старым священником, кто-то злорадствовал, а кто-то даже уверял, что «такие деньги просто так не дают», намекая на причастность отца Николая к интересному положению Маринки. И только приход хранил молча-

ние. Пока наконец чей-то скрипучий голос не произнёс язвительно:

— Видать, много мы ему платим...

И хоть все знали, что отец Николай не покушался на чужое, что деньги, исчезнувшие вместе с Маринкой, действительно были его деньгами, но где-то с самого краю прихода, а, может, напротив, в сердцевине его, что-то вдруг шевельнулось. Тотчас зашевелилось что-то и рядом, а в следующий миг движение передалось уже во все концы. И приход всколыхнулся. Пестрея павлово-посадскими огурцами и розами, приход раскинул множество рук со скрюченными полиартритом пальцами и завизжал, заскрипел на множество голосов.

Кассу создавал приход и распоряжался ею тоже приход. И вот теперь выходило, что оторванные от дома и принесённые в церковь рубли и копейки оказались, с лёгкой руки отца Николая, в кармане у той, о которой лучшее, что можно было сказать — это «непутёвая».

В субботу на вечерню собрался весь приход. Глухо постукивая палками, пришли даже те, кому трудно было ходить. На службе вели себя заговорщицки: переглядывались, перешёптывались, те, кто стоял ближе к солее, поминутно крутились и делали знаки тем, кто пришёл позже и стоял у входа. А когда вечно суetyающаяся Наталья Ивановна обошла всех и с озабоченным лицом, глядя на которое можно было подумать, что началась война и Наталья Ивановна торопится сообщить об этом, поведала о чём-то на ухо каждому, по церкви, словно лёгкий ветерок, разнеслись слова: «Не расходимся... не расходимся... не расходимся...»

Только отец Николай ничего не слышал и ни о чём не подозревал, но служил самозабвенно, шествуя мимо заговорщиц в клубах дыма кадильного, точно Сам Господь Саваоф среди предавших Его первых людей.

А когда окончилась служба, приход взял в кольцо отца Николая в притворе. Сначала никто не решался заговорить о «деле», и речь шла о пустяках. Кто-то некстати заметил, что «весна в этом году затяжная, хотя и Пасха была ранняя». Отец Николай отвечал что-то о терпении и о том, что «Господь, должно, скоро уж порадует нас солнышком». Кто-то сказал, что «сажать пора, а в огороде всё снег». И отец Николай с неизменной улыбкой ответил, что «под солнышком стает, а во влажной земле взойдёт лучше». И все эти слова — о солнышке, о тепле, о скорых всходах — ублажили старух и как будто притушили искры негодования, принесённые для того, чтобы, быв брошенными к ногам отца Николая, разгореться в пожар. Пожар той бессмысленной, но питающей душу злобы, которую для удобства и самооправдания нередко называют любовью к справедливости. Но в то самое время, когда показалось,

что вот сейчас все разойдутся и нелепая история с непутёвой Маринкой будет забыта навсегда, раздалось скрипучее:

— Да уж... кабы не огород, околели бы...

И тут же, словно опомнившись и опасаясь, как бы снова не подпасть под обаяние отца Николая, старухи заголосили:

— ...Живём небогато, надо думать!..

— ...Последнюю копейку от себя в церкву несём!..

— ...А он нашу пенсию — шалаве-Маринке!..

— ...Если лишние, так уж вернул бы!..

Отец Николай пробовал что-то отвечать, но его не слушали. В лицо ему летели новые обвинения:

— ...Своих полюбовниц на наши деньги содержит!..

— ...Постыдился бы! Старый ужо!..

Кругом себя отец Николай видел то сморщенные жёлтые щёки, то налитые красные. От духоты и расплывшегося запаха затхлости закружилась голова у старика, не всегда даже и понимавшего, кто задаёт ему вопрос. Куда бы он ни повернулся, перед ним, точно нанизанные на нитку, прыгали старушечьи лица с колючими глазками, с топорщащимися, похожими на стерню остатками бровей. Ему стало тяжело дышать, но вместе с тем вдруг нестерпимо жалко сделалось набрасывающихся на него старух. Как человеку, отправляющемуся в края благословенные, бывает жалко тех, кто остаётся в опостылевшем мире. Он вдруг увидел, что старухи корчатся от неведомой, мучительной боли, превозмочь которую нет сил, а исцелить — невозможно.

— Господи! — вдруг воскликнул он. — Не ве...

Но закончить он не успел, потому что в это самое время старухи исчезли, и звуки музыки, от которой в восторге замирала душа, донесли до его слуха...

Когда отца Николая хоронили, день был пасмурный, влажный, с изморосью. Улицы щетинились грязью, вода в лужах брезгливо морщилась. Но к вечеру прояснилось. И, не успев упасть за лес, красным масляным шаром стало солнце. Берендеевка опустела и преобразилась.

А ещё через год случился пожар в Берендеевке. Как и отчего зашлась пламенем пустовавшая избышонка отца Николая, осталось неизвестным. Спасти осиротелый дом никто и не пытался. Думали только, как бы не дать огню расползтись по соседним дворам.

И уже к вечеру на том самом месте, где жил отец Николай, стояла среди груды пепла и головней обугленная печка, точно пьяная баба, сбросившая враз одежды. Но, когда выдох остуженный дождём пепел, когда расточился смрад мокрых углей, печку разобрали на кирпичи. И ничего, кроме церкви, не напоминало более об отце Николае. Словно его никогда и не было.

«В некотором царстве...»

Сказки Агасфера

ЧАСТЬ ВТОРАЯ¹

Последние времена

Мария Павловна Горская

Когда поезд пришёл в Москву и люди стали понемногу выдавливать друг друга из этой железной оболочки, в одном из купе III класса произошла заминка.

— Ну и что делать-то с ней, батюшки мои! — вздохнула дородная молодка в распахнутом полубубке, оправляя на голове красный платок и кивая куда-то в сторону лавки напротив.

— Ах ты, Господи! — вздохнула маленькая старушка рядом, обмотанная в какое-то невозможное тряпье. — И что ныне делается? Не иначе верно говорят: последние времена...

— Ладно, бабка, не заводи, — перебил её бойкий мужичок, сидевший всочь, — слышали уж про последние времена. А вот что с ней делать, и точно — ума не приложу... Так, может, оставить? Пушай ка-таётся!

И он самодовольно хохотнул.

— Что ты! — воскликнула молодка испуганно и даже махнула на мужичка полной рукой. — Человек, чай, не собака... Да и по всему видать — барыня. Нельзя так оставлять — нехорошо. Что же, ежели ума решилась, так и пропадать? Не по-божески это.

— Ах ты, Господи... — опять вздохнула старушка в тряпье.

— Барыня! — передразнил молодку мужичок. — Ныне все барыни ума решились. Всё от ненависти к народу да от жадности за добро своё...

Тут все заговорили разом, и разобрать что-то стало сложно. Слышались только в общем гвалте слова «кровь», «народ», «хребет», потом, кажется, заговорили про больницу и «жёлтый дом». Потом кто-то предложил позвать полицию, на что сразу несколько голосов, перекрикивавших друг друга, основательно заметили: «Какая теперь полиция!» И только старушка всё вздыхала и повторяла: «Ах ты, Господи!..»

Со стороны могло показаться, что вся эта компания — человек десять — никак не может расстаться после стольких часов, проведённых вместе в дороге. Но если бы сторонний наблюдатель догадался заглянуть под лавку, на которой сидел мужичок, он бы понял, в чём дело. Под лавкой, свернувшись как кошка, лежала молодая, красивая, хорошо одетая женщина. И, судя по всему, действительно «барыня», как выразилась молодка. На барыне этой была чёрная коротенькая шубка, наглухо запахнутая или за-

¹ Часть первая опубликована в «Роман-газете» № 15 за 2022 год.

стёгнутая; юбка или платье из тонкой шерсти; высокие шнурованные ботики; и только на голове — какой-то странный, никем не виданный картузик. Под головой у неё лежал ридикуль, и смотрела она из-под скамьи, вытаращив глаза, блестящие к тому же необычайно ярко.

Неизвестно, чем бы закончился этот народный сход, если бы в вагоне вдруг не появились солдаты с винтовками и красными повязками на рукавах, и один из солдат не спросил:

— В чём дело, граждане?

В ответ граждане оживились и заговорили одновременно, показывая пальцами под лавку. Даже старушка выпростала из тряпья скрюченный палец и ткнула им по направлению расположившейся под лавкой «барыни». Задававший вопрос солдат скинул с плеча винтовку и, сжав её в правой руке, на которой бросалось в глаза отсутствие мизинца, оперся на винтовку как на посох, присел на корточки и заглянул под лавку. Тут он присвистнул, пошевелил бровями, после чего выпрямился и, перекрывая немолчавший гул, прогрохотал:

— А ну-ка, граждане, помолчим!

И когда гул немного стих, он обвёл присутствующих весёлыми, прищуренными карими глазами и, кивком указывая на молодку, сказал:

— Вот ты и расскажи.

Молодка, польщённая доверием и вниманием власти, заёрзала, снова оправила красный платок и звонко, задористо сказала:

— А чё рассказывать-то?.. Ну, едем мы, остановилась машина, эта, — она кивнула на «барыню», — и заскочила. Как уж она там в вагон забиралась — не видала, врать не стану. А только что видим — бежит, продирается как оглашенная, глаза выпучила... Тут её не то толкнул кто, не то сама оскользнулась, а только вдруг посмотрела так страшно, и шашть!.. Мешки раскидала и под скамью. Мы и ахнуть не успели, как уж она с глаз вон. Сами все испугались, давай кричать, а поздно! Она уж улеглась да из-под скамьи на нас смотрит. Хотели было вытащить, да видим — не в себе барыня, ну и оставили. Поесть, правда, давали. Хлебца там... молока вон я из бутылки в миску плесканула — не ест!

Тут она опять оправила платок и, не зная, что добавить к сказанному, сказала:

— Время-то какое...

Спрашивавший солдат кивнул, потом обвёл взглядом купе и громогласно спросил:

— Так ли?

Все закивали, заголосили, каждый хотел добавить что-то от себя. Но солдату было достаточно услышанного. Он повернулся к своему спутнику и уже без грохота — нормальным, обычным своим голосом спросил:

— В госпиталь, что ли?

Спутник его с самым серьёзным видом кивнул:

— Пусть там разбирают.

— А ну, граждане, разойдись! — снова прогрохотал первый.

И когда купе опустело, он присел на корточки, держась за упёртую в пол винтовку, и весело проговорил, заглядывая под лавку:

— Вылазь, ваше сиятельство. Пожалуйста на выход — приехали.

Из-под скамьи смотрели на него два испуганных глаза.

* * *

Барыня из-под лавки была не кто иная, как Мария Павловна Горская — дворянка, помещица Вяземского уезда Смоленской губернии и московская домовладелица. В пору путешествия под лавкой вагона III класса поезда, идущего из Смоленска в Москву, Марии Павловне шёл тридцать восьмой год. Она была ещё очень хороша: маленькая, стройная как девушка-подросток, с огромными серыми глазами, где, как казалось всякому, заглянувшему в них, навеки поселилась мечта. Само собой разумеется, что странное своё путешествие Мария Павловна предприняла вовсе не из экономии средств или нежелания покупать билет. Дело было совсем в другом. Но поскольку объяснить происшедшее в двух словах отнюдь не представляется возможным, придётся совершить небольшое путешествие в прошлое и поискать объяснение там.

Итак, Мария Павловна выросла в Москве, в Гагаринском переулке. Матушки своей Мария Павловна не помнила, их с братом Сергеем вырастил отец — Павел Георгиевич Затеев. Но, несмотря на раннюю смерть матери, Мария Павловна считала себя счастливой. В самом деле, какая была жизнь! Семья жила в собственном двухэтажном особняке. Особняк был старинный, с тяжёлой дубовой дверью, с колоннадой, лепниной и принадлежал Павлу Георгиевичу. В те времена он был ещё уездным предводителем, владел хорошеньким имением и — там же, в уезде — двумя заводиками, винокурным и кирпичным. В Москве, помимо того, числились за ним три дома, в одном из которых — самом поместительном — он и проживал со своей небольшой семьёй. Когда же Мария Павловна вышла замуж за молодого архитектора Алексея Ивановича Горского, Павел Георгиевич настоял, чтобы молодые оставались в доме, места было предостаточно. Алексей Иванович сдался, и дети их тоже родились в Гагаринском переулке.

С момента рождения первенца — Лики — Павла Георгиевича все стали называть «дедушкой». К этому времени он и впрямь был сухим, неулыбчивым стариком с выцветшими глазами навывкате, хотя ещё крепким и замечательно высоким.

Больше всего дедушка не любил социалистов и разгоров о революции, а зятя своего считал вольнодумцем, поскольку тот неуважительно отзывался о государе и утверждал, что тот «не царствует, а бредёт в неизвестность». Стоило дедушке возмутиться, как Алексей Иванович вздыхал и с грустным спокойствием отвечал:

— Поймите, Павел Георгиевич, мы все обречены. Наша Россия выросла из того сарафана, в котором сидит триста лет, а шить для неё новый государь не в состоянии. Но ещё древние говорили: покорного судьба ведёт, а непокорного тащит. Так не лучше ли покориться судьбе?..

Но тут дедушка начал сердиться, сдвигались его кустистые брови, а широкая, высохшая как у мумии ладонь тяжело опускалась на стол.

— В моём доме не потерплю таких разговоров, — бухал дедушка, словно бы бросал об пол большой камень.

И разговор прекращался. При этом Алексей Иванович тоже хмурился и принимался выстукивать на столе какую-нибудь мелодию, например, «Сердце красавиц». А младший сын дедушки — Сергей Павлович, всё-таки сбежавший однажды из отчего дома, являвшийся время от времени в гости и неизменно приносивший с собой шум, новости и терпкий запах хорошего одеколона, прятал в таких случаях улыбку и старался изо всех сил не расхохотаться. И если Алексей Иванович не хотел раздражать понапрасну тестя, то Сергею Павловичу как будто доставляло удовольствие дразнить отца рассказами о марксистских кружках по Москве, о программе большевиков и о том, что «царя скоро погонят».

Вслед за отцом и Мария Павловна обожала государя с государыней и всякий раз приходила в ужас, когда Сергей, пусть даже и в шутку, начинал грозить им. Но поскольку Сергей вообще не умел говорить иначе, как только смеясь, то в глубине души Мария Павловна верила, что разговоры о революции и о том, что выгонят царя, — это только шутка. Да и как могло быть по-другому? Неужто от хорошей жизни? Ведь Россия — а в этом Мария Павловна была уверена — кормит Европу, и продуктов таких, как в России, нет нигде больше. И даже немец с Арбата, тот толстый немец-колбасник, у которого они покупают колбасу, сказал как-то после путешествия на родину своих предков:

— Нет, сударыня! Такой колбаса я мог делать только в России.

А какой хлеб они покупают у Филиппова! Эдакий хлеб Мария Павловна не видывала и в Париже. Так с чего же тут бунтовать? Зачем свергать государя?

А уж Гагаринский переулочок, точно бегущий за руки с Пречистинкой и Сивцевым Вражком в сторону Храма, и вовсе был каким-то сказочным царством. Кроме особняка с колоннами, где жили Затеевы и

Горские, по улицам и переулочкам красовались другие особняки — розовые, кремовые, голубые, с чугунными балкончиками, резными террасами, с башенками, эркерами и даже витражными окнами. Многие были окружены садами, откуда, смотря по времени года, доносило то липовым цветом, то хризантемами. Жизнь здесь протекала неспешно и основательно, и люди вокруг жили такие же — неспешные и основательные. Не торопились даже времена года, раскрываясь во всей полноте и точно позволяя людям насладиться каждым явлением. Весна сначала будоражила капелью, потом пускала ручьи — шумящие и блестящие. Потом дети бегали от сирени к жасмину, от вишни к липе и сравнивали — где почки шишечки набухли и где самые липкие. Потом улицы и переулочки медленно зеленели, переполняясь птичьими голосами. И вот наконец наступали соловьиные ночи. С этого времени Мария Павловна всегда уезжала в имение под Вязьмой, в Москву возвращаясь только по осени, хоть осень в Москве казалась Марии Павловне грустной. Ранняя осень с высоким и чистым небом, с запахами последних цветов, с первой позолотой, лишь мазнувшей кое-где листву, была похожа на умирающую девушку. Молодость и красота её зывали к Жизни, но на зов являлась Смерть — безразличная и неумолимая. Октябрьская осень — мокрая, грязная, тёмная — напоминала Марии Павловне старуху с растрёпанными седыми космами, неопрятную и зловонную. Прекрасна была лишь поздняя осень — как выдержанное вино, как уверенная в себе красавица, чьи годы подарили ей мудрость, покой и умение наслаждаться созерцанием жизни. Холя, какие-то изысканные духи и совершенная невозмутимость выделяют её в любом собрании... Так чувствовала Мария Павловна. Так за годом проходил год. Дети росли. И вот уже розово-шёркая, похожая на свежее яблоко Лика зачислена в Смольный институт, а худенький, бледный, мечтательный, как и Мария Павловна, Мика — в Пажеский корпус, что было особенным счастьем для всей семьи. О зачислении Мики хлопотал другой дедушка — отец Алексея Ивановича, петербургский генерал и участник Крымской кампании. И если бы не связи генерала Горского, Мика никогда и ни за что не попал бы в Пажеский корпус.

Разъехавшись, дети стали писать домой письма. Мика — сдержанные и короткие, а Лика — прощальные, с подробными описаниями всех спектаклей и выставок, куда девиц возили от Института. Возвращаясь летом домой, Лика привозила всем подарки, а ещё непременно показывала красивые фантики от конфет с царского стола — каждый год в дни рождений и тезоименитства царской семьи девицы отвозили в один из театров, где в ложе каждая получала по две коробки конфет. Причём одна была от государя. Фантики из царской коробки, сохраняв-

шие запах шоколада, Лика не выбрасывала, а возила за собой в особой шкатулке.

Как-то июньским вечером Лика постучала в комнату матери и вбежала, сжимая в руках свою заветную шкатулку.

Первым делом она дёрнула правым плечом, откидывая за спину толстую тёмную косу, после чего забралась на кровать к Марии Павловне, поджала ноги и раскрыла принесённый ларец. Оттуда пахло шоколадом, а потревоженные фантики нежно зашелестели.

— Какой вам нравится лучше, маменька, — прошелестела и Лика, — такой и берите.

Мария Павловна выбрала голубой и поцеловала тёплую дочкину щёку.

— Подумать только, — тихо сказала она, разглаживая бумажку, — кто-то из царской семьи прикасался к ним.

Потом они долго сидели так на кровати, перебирали фантики, и Лика шёпотом рассказывала, в каком из них какая была завернута конфета и на каком спектакле была получена та или иная коробка. К имени государя, оваянному шоколадно-музыкальным облаком, добавилась тёплая майская струя из окна и длинная соловьиная трель.

— Ты любишь ли государя? — чуть слышно спросила Мария Павловна, чувствуя, что где-то в груди у неё поднимается шар, лёгкий и шелковистый, как фантики из Ликиной коробки.

— Очень, мама! Очень люблю! — горячо зашептала Лика. — И государыню-матушку люблю, и всё семейство его...

Они ещё крепче прижались друг к другу, и вдруг обе — не то одновременно, не то одна за одной — бесшумно расплакались счастливыми горячими слезами, от которых на душе становилось спокойно и чисто.

А через несколько дней после той сладостной ночи отправились в деревню, куда ещё раньше отбыл дедушка. Он встречал их на станции какой-то встрепанный, напоминавший Марии Павловне подравшегося воробья. Даже волосы у него торчали как перья задиристой птицы. Пока они ехали по мягкой пыльной дороге от станции к деревне, дедушка неохотно поведал, что ведёт настоящую войну с местными крестьянами, которые как начали волноваться в пятом году, так до сих пор всё не успокоятся. То и дело к кому-то из них возвращалась мысль поделить барское добро. Эту мысль он тут же сообщал товарищам, и те, как правило, соглашались: да, пора делиться. А почему, собственно, дедушка должен с ними делиться, никто из них объяснить не умел. Но время от времени в усадьбу являлась делегация и предъявляла права то на скот, то на орудия и технику, то на муку, а то и на заводики. Стоило же дедушке пуститься в увещевания, как в ответ начиналась дав-

но знакомая песня о заеденном веке, выпитой крови и народном хребте. Особенный же интерес вызывал у крестьян винокурный заводик. И страшно сказать: небольшой этот заводик, заложенный ещё отцом дедушки и остававшийся до недавних пор предметом его гордости, стал теперь его кошмаром. Заводик гнал спирт из картофеля и свёклы и приносил вполне сносный доход. Но когда наклонные к дележу крестьяне положили глаз на заводскую цистерну, куда вмещались тысячи вёдер спирта, дедушка перестал спать по ночам.

О намерении крестьян штурмовать заводик Павел Георгиевич узнал от управляющего, как только приехал после зимы из Москвы. Управляющий Иван Густавович Шпигель — маленький лысоватый блондинчик лет пятидесяти, бойкий, чистенький, всегда гладко выбритый — явился, как обычно, с докладом. Они говорили обо всём: о прошлогодних урожаях, о выкесе, о посевах... Наконец, уже собравшись уходить, Иван Густавович сказал:

— Да вот ещё что... Надо тебе сказать, Павел Георгиевич, что у затеевских крестьян блажь завелась: хотят твой спирт делить...

— Что значит «спирт делить»? — удивился дедушка: раньше об этом речь не заходила. — И какой это «мой спирт»?

— А такой, что в заводской цистерне остался. Это, надо думать, Зайцевы подбивают — два брата. Теперь все дележом грезят, так и зыркают: чего бы ещё разделить. С пятого года завелась эта канитель. Нарыв, понимаешь! Как забунтовали тогда, так и тянется. Пока не лопнет, подгнивать будет.

— А со спиртом-то что? — сурово спросил дедушка.

— Так мыслю, что надо бы нам заводскую цистерну как-то освободить — оставлять боязно. Хорошо бы тебе, Павел Георгиевич, в акцизное управление обратиться. Без тебя я не стал — ты хозяин. Да и вообще, осторожнее надо бы со спиртом — время лихое настало. До спирту ли?.. — Иван Густавович поморщился и провёл рукой по макушке, покрытой желтоватым пушком. — Того гляди, что-нибудь посплется.

С этими словами управляющий уехал, а дедушка заволновался. Он действительно решил написать в акцизное. А пока лишь усилил на заводике охрану, организовав из самых благонадёжных мужиков что-то вроде милиции.

— Высечь бы всех этих... коммунистов, — ворчал дедушка по дороге со станции, покачиваясь в старинном ландо, невесть когда и откуда появившемся в имении. И брови дедушки шевелились, точно мыши, высунувшие носы из нор.

— И высечь не получится, — вздохнул Алексей Иванович, сдвигая на глаза серую шляпу, — и толку не будет. Только вред один. Не те уже времена...